

Этот день, День Победы девятого мая 1945 года, так врзался мне в память — будто и нет огромной череды лет между мною тем и мной сегодняшним: каждая мелочь помнится зрением, слухом, обонянием, осязанием — видно, я, несмотря на свой малый возраст, всё-таки понимал смысл этого дня и его значимость в ряду прочих дней. Хотя что могу добавить ко всему написанному о том времени и том дне я, вместе со своим детским восприятием? Тем более что происходило это в таком далеке от сражений и побед той войны, что и представить себе трудно: в глухой сибирской деревне, дальше которой и дорог-то нет — одни чащи да болота. Но память снова и снова возвращает меня туда, к пережитому только мной — и никем иным, и среди пережитого — тот долгий-предолгий весенний день, не самый последний в ряду других.

Утро в тот день стояло такое умытое, яркое, солнечное, какое бывает только после долгих ненастий; острые ветерки гуляли, и бежали по синему небу белые барашки. Я стоял на деревянном, сыром от дождей крыльце, жмурился от ещё невысокого с утра, бьющего прямо в глаза солнца и чувствовал лицом его тепло — будто оно ласково гладит мои щёки тёплыми ладонями... Я тогда любил, щурясь, глядеть на него и видеть сквозь ресницы, как выходят один из другого и пульсируют в моих глазах золотые и синие радужные круги.

Так вот я стоял, и щурился, и таял от солнечного тепла, хотя надо было бежать в магазин, становиться в тесную очередь и долго томиться в ней. В кармане пальтеца — рыжая плетёная авоська, а в ладони — синяя бумажка, хлебная карточка, так крепко зажатая, что если б даже я упал в яму или бы меня ударили — я бы эту ладонь не разжал: прекрасно знал, почему этой бумажкой размером с детскую ладонь надо дорожить. Тем более что уже однажды её потерял: сунул в карман, а потом не нашёл, — и оставил всех на неделю без хлеба... Кроме меня, бежать некому: мама на работе, на бабушке — кухня и огород; магазин — далеко, а с брата что возьмёшь — он маленький, так что у меня была обязанность — каждый день ходить за хлебом.

Да мне и нравилось туда ходить — я за это имел право на награду: два-три раза откусывал по дороге хрусткий уголок от чёрной буханки, вкуснее которого я ничего ещё не знал, и меня за это даже

не ругали. Но сначала я эту буханку нюхал, вдыхая её запах всей грудью прямо посреди улицы, — на морозе она пахла божественно: запах свежего, ещё тёплого хлеба слегка отдавал польнёью, широким простором, сухим знойным ветром, веющим над этим простором, и одновременно — густым морозным воздухом, смешанным с инеем и берёзовым дымком из деревенских труб; а сам морозный воздух всегда почему-то пах пустой чистой комнатой, только что побелённой известью, и я не просто жадно вдыхал эти запахи — я страстно переживал их в себе, и сердце от этого переживания билось чаще.

И вот сейчас мне снова надо было бежать за хлебом, но я никуда не бежал, а всё стоял и стоял на крыльце, ещё влажном от дождей, потому что не только яркое солнце в глаза держало меня: задрав голову, я ещё смотрел на высокий молодой тополь, с которым творилось что-то странное. Не потому, что наверху галдела стая воробьёв, — нет, прямо на моих глазах с лёгким треском лопались почки на ветках: их тоже пригрело солнце, и на крыльце дождём сыпалась бурая чешуя, а каждая освобождённая почка начинала топорщиться острыми зелёными листочком. Я наклонился, набрал в свободную ладонь липкой чешуи и стал нюхать; она пахла пылью, ветром, а главное, сладчайшей тополиной смолой, и я глубоко, до головокружения, жадно внюхивался в этот медово-сладкий запах...

Не знаю, сколько я так стоял, но очнулся я от мальчишеских криков: по улице бежали два подростка — у одного в руке высокое тонкое древко с красным флажком наверху, а другой кричит так, что голос его звенит и срывается:

— Победа! Война кончилась! На митинг к сельсовету! Победа! Победа!..

Я швырнул пахучую чешую, быстро, чтоб никто не видел, вытер липкую ладонь о пальтишко и — мигом в дом:

— Бабушка, бабушка, война кончилась! На митинг зовут!

Бабушка стояла у плиты в голубом чаду — жарилла *драники*. И — ни слова в ответ. Только выпрямилась, мелко перекрестилась и снова наклонилась над шипящей сковородой. И когда повернулась ко мне, я заметил на реснице у неё слезинку.

— Бабушка, можно я схожу на митинг?— уже тихо спросил я.

— Нет,— ответила она.— Опять простынешь. Иди за хлебом.

— Не простыну!— начал я ныть.

— Нет!— уже твёрдо отрезала она...

И тут пришла мама— в доме зазвенел её голос; я ликую уже от одного её голоса— мне некого больше любить так сильно, как её: братишка— маленький и часто хнычет, бабушка— хозяйка, хранительница, а хранительнице надо быть строгой... Знаю, что маме некогда, что она всегда торопится, но что она всё равно меня любит, не требую своей доли внимания и помалкиваю себе— мне вполне хватает её голоса и кратких прикосновений; мы с ней— как заговорщицы с общей тайной.

Правда, бывали моменты, когда мы с ней оставались вдвоём; чаще всего то было летними полднями: она приходила на обед, но вместо обеда, взяв подойник, бежала доить корову; идти было далеко за деревню, на вытопанный стадом озёрный берег, *тырло*,— там коровы ждали своих хозяек; я очень хотел, я просто изнемогал от желания пойти с ней, и она чувствовала это и позволяла мне. И не важно, что это далеко и что всю дорогу— бегом, в то время как по дороге, особенно на берегу, истоптанным коровами, где глинистая грязь от жары превращалась в острые камни, я почти в кровь сбивал босые ноги; зато целый час— вместе. И маме, я чувствовал, это тоже нравилось. Наговоримся! Особенно когда назад. С почти полным подойником молока, затянутым сверху марлей, чтоб не расплескать, мама шла медленнее; да ещё на полдороге, давая руке отдохнуть, она осторожно ставила подойник в траву, сходила с дороги и собирала букет из ромашек и синих полевых гераней. А если в настроении— так ещё спросит: «Знаешь такую песенку?»— и, смеясь, поёт; так и остались в памяти, слившись воедино, солнечный блеск полудня, одуряющий запах вянущих на жаре цветов, мама в белой косынке, в ситцевом сарафане в мелкий лиловый цветочек, с открытыми, коричневыми от загара плечами, шеей и руками— и лёгкий, серебряный её голос...

Примерно в это же самое время я, где-то чего-то наслушавшись, с самым серьёзным выражением лица стал без конца её поправлять:

— Мама, ты опять неправильно говоришь! Надо говорить не «ромашки», а «аромашки»! И не «облака», а «облакаты»!..

Она опускала лицо в букет, шумно внюхивалась в него, затем трепала мои волосы и смеялась:— И правда, сынок— они такие «аромашки»!..

Но в тот день я так и не сходил за хлебом: мама пришла и прямо с порога— бабушке:

— С победой, мама! С победой вас всех!— и как была, в коричневом, грубого сукна, жакете и клетчатом платке, порывисто обняла меня, а потом затормошила, закурила бабушку. И вдруг— всмотревшись в неё:— Мама, ты плакала?

— Петя... Петя...— залепетала бабушка, и беззвучные слёзки опять потекли у неё из глаз, застревая в морщинках.

Петя— её старший сын, мамин брат, мой неведомый дядя, пропавший на фронте без вести. Мне говорили, что я на него похож.

Иногда я украдкой доставал фотоальбом, всматривался в его фотографии и никак не мог понять: чем же я похож на этого взрослого человека с суровым прямоугольным лицом, сжатыми губами, резкими складками у губ, прямо глядящими глазами и высокой копной светлых кудрявых волос надо лбом?.. Но более странным было другое: когда заговаривали о нём и я хотел его себе представить, то видел в своём воображении не эти фотографии, а какие-то неясные кадры, будто из немого кино: снежное поле, бегущие фигуры бойцов в шинелях, с длинными винтовками в руках, и один, самый ближний ко мне, чем-то похожий на дядю Петю, будто бы бежит по глубокому снегу, торопится не отстать от других; я хочу заглянуть ему в лицо, удостовериться: он ли это— или не он?— и тут он падает, уткнувшись в снег; я мысленно обхожу его вокруг и никак не могу увидеть лица... То было не во сне— я видел его с открытыми глазами! Но почему мне виделось именно это? Я же не видал ещё ни живого бойца, ни кино про войну, не читал про войну книжек! И я боялся рассказать о том, что видел,— мы тогда ещё не знали, что дядя Петя убит: моя тётя, чтобы не расстраивать бабушку и маму, не писала им, что получила *похоронку*,— написала, что Петя *пропал без вести*.

Но отчего так часто плакала о Пете бабушка? А мама, тоже ещё не знавшая правды, успокаивала её:

— Не плачь, мама,— давай будем верить и надеяться! Вот увидишь: кончится война— и Петя найдётся! Не плачь!..

— А ты чего так рано?— спросила бабушка маму.— Обед ещё не готов.

— Переодеться— тепло сегодня,— мама сняла клетчатый платок и надела берет.— Митинг будет у сельсовета. Потом пообедаю. Пойдём?

Но бабушка отказалась. Зато я вскинулся:— Я тоже хочу на митинг!

— Вот *вяньгает* и *вяньгает*!— проворчала бабушка.— Простынет там— ветрено сегодня.

— Мама, но это же исторический день— пусть запомнит на всю жизнь!— вступилась за меня мама.

— Ну, смотри,— сказала бабушка сурово.— Только вытащили...

Тут стоит объяснить, откуда меня «вытащили». Но сначала—о моих отношениях со школой. Мама моя работала там одновременно счетоводом и библиотечкарем, и как только, лет с пяти, я начал бегать к ней на работу, мне понравилось рассматривать у неё в библиотеке толстые книги с картинками. Мне страшно хотелось научиться читать, и я упрасивал маму научить меня, но ей всё время было некогда. Научила бабушка, причём с умыслом.

К нам приходила маленькая районная газетка; они хранились потом дома для всякой нужды: из них делали стельки для обуви; обуваясь, ими обматывали ноги вместо носков и портянок—они хорошо держали тепло; ими обёртывали продукты; их выпрашивали *эвакуированные*, что построили целую улицу из землянок на краю села: построили, что газеты, сшитые и простёганные, они стелют вместо простыней и ими же укрываются вместо одеял...

За газетами приходили двое мальчишек. Один из них—долговязый и страшно худой подросток-белорус, с холщовой торбой на боку, одетый в невообразимое тряпье, причём и на ногах его вместо обуви намотаны были тряпки, которые оставляли на полу лужицу—а ведь стояла зима! Выпрашивая у бабушки газеты, он непременно добавлял: «Дайте хучь ядну картовочку»,—и говор его казался мне таким смешным, что я едва не прыскал от смеха—сдерживал меня лишь суровый бабушкин взгляд.

Вторым был мой явный сверстник, опрятный мальчик-немец с нежным румянцем и большими карими глазами в пушистых ресницах—прямо как у девочки; мне с ним очень хотелось заговорить, но он, чувствуя мой интерес к нему, лишь беспомощно унылся и произнесл всего два слова, и то с немецким акцентом: «картофель» и «газетт»... Бабушка угощала их драником или варёной картошкой в мундире—больше было нечем; но газеты давала не всегда—они были ценнее картошки!

Она сама любила читать и перечитывать их, но читала с трудом: стёкла её старых очков были треснуты и склеены тонкими полосками бумаги; она берегла очки и надевала их, только когда приходили письма, а уж надев, прочитывала их по несколько раз подряд, надеясь вычитать там что-то ещё. А ради газет она их даже не надевала—лишь держала в руке и водила ими вдоль строчек.

Она научила меня азбуке, чтобы я читал ей газеты... Вечер; в окна бьёт метель, в плите цвелькают угольки, на столе—*коптилка* (стеклянный пузырёк с керосином, а в горлышке—фитилёк с жёлтеньким, размером в ноготок, пламенем), и мы—вокруг: мама шьёт или чинит что-нибудь ручной иглой, бабушка трёт на тёрке бесконечную картошку, братишка, высунув язык, огрызками цветных карандашей рисует *маляку* и не хочет

идти спать—в комнате, где наши кровати, темно и страшно. А я шпарю вслух: какие заняты нашими войсками города, сколько уничтожено фашистов, танков и самолётов. Если неправильно прочту слово, мама меня поправляет или заговаривает с бабушкой. Тогда я отдыхаю от трудного чтения—смотрю, как по стенам ползают наши большие чёрные тени, страшные и смешные одновременно, и слушаю, как в щели за плитой поскрипывает наш невидимый друг-сверчок.

Прошлой осенью я запросился в школу, но у мамы были проблемы с моей экипировкой, да мне и не было семи,—и они с бабушкой стали меня уговаривать:

—Рано тебе ещё в школу—подрости!

Но я их укланчил. Тогда из грубого холщового коврика с аппликацией: семейка грибов-мухоморов со шляпками из красного, в белый горошек, шёлка,—мне сшили торбу с лямкой через плечо; я положил туда букварь, две, в клеточку и косую линейку, тетрадки и новый жёлтый пенал, пахнувший сосной и лаком, а в пенале—карандаш и красная деревянная ручка с новым стальным пёрышком, а в боковом кармашке торбы—наша полная чернил фарфоровая *непроливайка* с красно-золотым пегушком на боку.

У меня был самый прекрасный на свете сосед, Денис; только он много дней зимой сидел дома: у него со старшим братом были одни пимы на двоих, и они ходили в них в школу и вообще на улицу по очереди, так что тот, кто оставался дома, даже по нужде на улицу бегал босиком—прямо по снегу, и я завидовал им: мне самому хотелось так бегать!.. А ещё я восхищался тем, как Денис в свои двенадцать лет, оставаясь целый день дома, научился ловко вырезать ножиком из дерева игрушки; они у него получались прямо как живые: скакали деревянные зайцы, кузнец поочерёдно с медведем били молотками по наковальне, гимнасты вертелись на перекладинах... Когда я болел, он мне их дарил, а бабушка отдаривалась тарелкой драников.

И вообще Денис умел всё! Он, например, умел сам делать чернила, и я, твёрдо задумав идти в школу, в августе помогал ему в этом: собрали с ним по сухим косогорам целую корзину ягод крушины, а потом парили их с солью в чугуне, пока не получились три бутылки густого, как дёготь, тёмно-коричневого настоя, и одна бутылка была моей!..

В общем, собрал я торбу, и мама отвела меня в школу. В этот день кончилась моя дошкольная жизнь, а она была такой безмятежной!..

Ещё совсем недавно, летом, я дружил с моей соседкой Надей, жившей через два дома от меня, причём вдруг, неожиданно и так крепко подружился с ней, что дня не мог без неё прожить: с утра, сразу после завтрака, под мамыны и бабушкины

смешочки (знал ведь: надо мной смеются,—а мне уже было всё равно!), торопился скорей на улицу—якобы поиграть возле дома, а сам бегом бежал к Наде. И она тоже бывала мне рада.

Ох, как безжалостно нас с ней дразнили наши же сверстницы и сверстники всей нашей улицы, бывшие до той поры нашими подружками и друзьями! Особенно безжалостны были почему-то девчонки. Одна громко, на всю улицу истошно кричала:

Барабаны бьют,  
Радио играет,  
Надку замуж отдают...

(Дальше уж и не помню.)

Другая вторила ей:

Задавуля—первый сорт,  
Куда едешь? На курорт!  
Шапочка с бубончиком,  
Ножка под вагончиком!

И уже все хором (или дуэтом, или трио, в зависимости от того, сколько их собралось) скандировали:

Тили-тили-тесто,  
Жених и невеста!  
Тесто засохло,  
Невеста сдохла!

Откуда они брали эти куплеты? Может, перенимали у старших? Причём ведь и те, что выкрикивали их, и я, и Надя, ещё никогда не слышавшие ни барабана, ни «радио», никогда не видевшие курорта или вагончика, прекрасно знали, о чём речь. Откуда мы, опять же, всё это знали? Не могу понять... Однако нас с Надей эти куплеты нисколько не обижали—мы были слишком заняты нашими отношениями.

Не помню уж, чем мы с ней занимались ещё—помню только, как дружно строили наш общий домик в палисаднике её дома. Мы его так и называли: «наш домик». Он размещался под большим старым кустом смородины, разросшимся настолько, что высотой он был намного выше нас, а густые боковые его ветви склонились до земли так, что под ними получалось небольшое пространство, засыпанное жухлым листом и сухими веточками. Мы забирались туда ползком—а там, в том пространстве, можно было даже сидеть и ползать на коленках.

Надя, собрав из сухих полевых стебельков венечек, чисто, до плотной чёрной земли, подмела это пространство, затем принесла две дощечки и соорудила там полочки, а мне велела собирать «посуду». «Посудой» были «цацки»—фарфоровые осколки старинных тарелок, блюдец и чайных чашек, никогда не виденных нами, но в какие-то немисливо далёкие, «царские», времена (которые, если посчитать разумно, закончились всего-то

за двадцать с небольшим лет до нашего с ней рождения) густо засеяли чернозёмную почву нашей деревни. Найдёшь такой осколок, отчурь дочиasta от грязи—и засверкает он безупречной снежной белизной, и проступит на этой белизне всего лишь маленький кусочек сказочного цветка дивной красоты,—а когда смотришь на него долго-долго—он распускается в твоих глазах всеми своими цветными лепестками, зелёными листиками, золотыми ободками, запоминаясь на всю жизнь так что много-много лет спустя, когда я рассматриваю в музеях прекрасного качества фарфор с художественной росписью на нём, в моей памяти далёким многократным эхом откликаются наши маленькие открытия рукодельной красоты на тех фарфоровых осколках...

Но ещё ценней этих фарфоровых «цацек» были осколки старинного цветного бутылочного стекла—их тоже было много в земле, и каждый осколочек дарил нам праздник: когда мы с Надей, сидя прямо на земле, на «пороге» нашего «домика», сквозь цветные, да ещё искривлённые эти осколки, замерев от удивления, рассматривали окружающий нас и уже привычный нам мир—он поочерёдно предстал перед нами то багрово-красным, то золотисто-солнечным, то спокойно-зелёным, то сумрачно-синим; и среди этих калейдоскопических цветных миров меня охватывало необыкновенной полноты ощущение блаженства, ликования и счастья от увиденной по-новому красоты мира и моей полной слитности с ним, а заодно—и единства наших с моей подружкой душ: он становился совершенно новым, фантастически-праздничным! Потом мы смотрели сквозь эти стёклышки друг на дружку—и тоже преобразались: становились удивительно красивыми и одновременно смешными,—и хотали до упаду.

Как мы были веселы, как счастливы тогда! И как быстро безмятежное это время закончилось, разведя нас по разным дорожкам: меня звала, просто страстно манила школа, а Надя оставалась дома.

Но когда я пошёл в школу—она разочаровала меня ужасной скукой: мальчишки старше меня там целую четверть долбили алфавит, а я уже читал газеты! Пришлось терпеть. Хорошо ещё, учительница, чтобы я ей не мешал, догадалась давать мне мел и разрешила рисовать на доске всё, что хочу, и я изрисовывал её танками и самолётами... Потом втянулся в занятия. Пока в начале весны не свалился с горячкой.

Случилось это так. Зимой нашу улицу переметало сугробами выше изгородей, и дорога шла по этим сугробам, как по горам, то поднимаясь на заступы, то ухая вниз... Но в тот мартовский день стало вдруг так тепло, что весь снег разом отсырел и размяк. Я же хоть и осторожно, а всё-таки

и беспечно шёл себе посреди дня из школы домой, останавливаясь время от времени полюбоваться своими новенькими галошами поверх тёплых носков... А галоши и вправду были чудо как хороши: блестящие так, что на их чёрном глянце играло солнце, и волшебно пахли резиной, а изнутри выстелены были мягонькой, красивой алой байкой! Всю длинную зиму я мечтал, как, наконец, сброшу с ног тяжёлые подшитые валенки и выйду на улицу в новеньких блестящих галошах, и в тот день мечта моя сбылась: мне разрешили пойти в них в школу!

Но тут, уже где-то на полпути к дому, подо мной стала разверзаться вконец раскисшая дорога: только выдерну из снежной каши одну ногу — тотчас же вязнет по самый пах вторая; вмиг мои галоши наполнились водой, что накопилась под снегом; через сотню таких шагов я выбился из сил, а ноги мои замёрзли. Но самое ужасное — глубоко в снегу потерялась одна из галош.

Мне бы плюнуть на неё да, взявши вторую в руки, чтоб и её не потерять, скорей бежать домой в одних носках — но я не хотел с ней расставаться! Зарывшись с головой в сырой снег, я шарил и шарил там руками вслепую — и никак не мог найти.

Не знаю, сколько я её искал, но я уже вымок до нитки и замёрз: начали отбивать чечётку зубы. И — никого вокруг. Пришлось сдаваться: я махнул на галошу рукой — но потерял время; снег под ярким солнцем раскис окончательно, так что дальше идти было ещё хуже: он уже не держал меня — я просто полз по дороге, волоча за собой торбу. Это был какой-то кошмар: я выбивался из сил и замерзал посреди родной улицы, в двухстах шагах от дома, под ярким горячим солнцем. И никого вокруг!..

Мне уже приходилось переживать смертельный страх. Правда, всё произошло тогда в секунды — я даже не успел как следует испугаться.

То было прошлым летом; мне давно дразнили белоснежные лилии с оранжевыми сердечками внутри — они плавали среди круглых листьев на чёрной воде речного омута под горой. И нужен-то мне был всего один цветок — заглянуть внутрь и понять: что там, внутри него, за огонёк горит? Чтобы разгадать тайну, я притащил длинную-предлинную палку и стал тянуться ею до ближнего цветка. Я осторожноничал — знал, что чревато, а плавать ещё не умел. И надо же: в тот момент, когда палка коснулась цветка, среди плавучих листьев что-то громко плеснуло — щука, наверное? — не водяной же и не русалка: в доме у нас не верили в них и нас приучали не верить, — но я вздрогнул, поскользнулся на мокрой глине и шлёпнулся в воду. Палка меня выручила — не дала сразу пойти ко дну. О, как я боролся тогда за жизнь: как отчаянно, до белого кипения, молотил руками воду, как сдирал ногти, впяиваясь пальцами в скользкую глину берега, как вжимался в неё лицом, грудью,

животом, подобно древнему земноводному существу медленно выползая из воды на сушу! И как, выбежав потом на сухой обрыв, подальше от воды, стоял, испуганный, весь мокрый и грязный, с бешено колотящимся сердцем — но торжествующий и счастливый, оттого что не поддался страшной чёрной пучине, вырвался из её лап!..

Однако снежная стихия в тот мартовский день никак не хотела меня отпускать. Я уже выбился из сил в проклятом месиве из сырого рыхлого снега; никогда больше я, кажется, не чувствовал такого бессилия.

Не пойму: как у меня хватило тогда сил доползти до дома?.. Бабушка раздевала меня донага возле горячей плиты, а я пытался рассказать, где потерял галошу, и не мог — так отчаянно стучали зубы, а из глаз лились слёзы обиды, хотя плакал я редко — за слёзы безжалостно дразнили и дома, и на улице: «Нюня!»; «Плакса!»; «Раз-два-три — сопли подотри!»...

Бабушка напоила меня горячим чаем с молоком, уложила в постель, укрывши поверх одеяла маминым полушубком, и ушла, пообещав найти распроклятую галошу — не только чтобы успокоить меня: в то военное время галоши о-го-го как ценились! — да мне просто не в чем больше было бы ходить в школу... А я, как только она ушла, вылез, несмотря на неумную дрожь, из постели, подошёл и приник к окну — удостовериться, что она и в самом деле, взявши лопату, отправилась со двора. И долго-долго ждал, а потом снова торпливо влез в постель — унять дрожь и икоту от слёз, когда она наконец показалась со злополучной, чудом спасённой галошей в руке. А я, окончательно успокоенный, впал в забытьё.

Заболел я тогда жесточайше. Отчётливо помню картины бесконечно-вязкого бреда. Обычно утрами, проснувшись, я любил разглядывать рыжие пятна потёков на потолке и старался угадать в них человеческие лица, фигуры лошадей, собак, овец... А теперь эти пятна ожили и пульсировали, кружились, наплывали одно на другое, и я никак не мог остановить их взглядом; пятна превращались в страшные, злобные звериные морды: они шевелились, скалили зубы, и я никак не мог узнать в них знакомых животных — теперь это были тигры, медведи, крокодилы — и волки, волки, волки... Что волки, это понятно — о них столько было страшных рассказов в те годы: то забрались в хлев и задрали у кого-то корову, то растерзали в поле коня вместе с седоком в санях, то сожрали школьницу прямо на дороге — остались лишь валенки с ногами внутри... А однажды в начале зимы бабушка показала мне в окно:

— Вон они, проклятые!..

Наша улица заканчивалась перед крутым косогором, а дом наш стоял вторым с краю, и из окон

хорошо видны были и река с широкой излучиной, и далёкие заречные дали на много вёрст вокруг; я глянул вслед за бабушкой в окно — и в самом деле увидел, как далеко-далеко на чистом белом снегу после первой пороши осторожно пробиралась через ставшую реку цепочка волков, чтобы обосноваться на зиму в болотистой речной излуке, поближе к деревне; я даже посчитал их: пятеро! А весной, в ледоход, они уходили обратно, в заречные чащобы, ошалело прыгая по льдинам... Ну ладно, это волки, обычные у нас тогда звери. Откуда же остальные-то?.. Как я думаю, просто мама читала мне во время болезни сказки про них, и в моей голове всё шло от этих сказок кругом...

А когда я выкарабкался из бреда, меня разрывала такая нестерпимая тоска, что хотелось не просто плакать, а выть по-звериному, и когда никого из взрослых в доме не было, я давал себе волю: выл до изнеможения. Потом засыпал.

Приходил старичок-фельдшер, добрейший Вячеслав Палыч, с красным личиком и седенькой, клинышком, бородкой. Он бодро приступал ко мне: — Ну те-ка-с, молодой человек! — и начинал терзать: заглядывал с помощью ложки в горло, заставлял раздеваться, выстукивал грудь, вслушивался в неё через деревянную трубочку. Прикосновения его ледяных пальцев и трубочки к горячечной коже приятно шекотали.

А потом мой обострённый слух ловил его разговор с мамой и бабушкой за дверью; что-то без конца выпрашивала мама и шептала бабушка, но два слова в их с фельдшером разговоре слышались отчётливей других: «кагор» и «умрёт». Слово «кагор» было мне неизвестно, а второе — «умрёт» — я, конечно же, знал, прекрасно понимая, что оно — обо мне, но был уже так измотан бредом и нестерпимой тоской, что воспринимал это слово равнодушно. Было только жалко маму: я представлял себе, как она будет горевать обо мне, и от этого опять хотелось плакать.

А когда Вячеслав Палыч ушёл, мама с бабушкой за дверью снова начали говорить, уже между собой, и в их полужёпоте я улавливал ещё слово «жемчуг». Я уже знал, что это такое. Однажды в жаркий летний полдень, когда солнце било сквозь цветы на подоконнике и, отражаясь от пола, заливало комнату белым матовым светом, мама достала из старого сундука странные бусы: они состояли из белоснежных шариков, которые удивительно заиграли, как только солнечный лучик упал на них, всеми цветами радуги, и я не мог оторвать взгляда от этих маленьких, завораживающе волшебных радуг. А мама, смеясь, дважды обмотала этими бусами-радугами свою открытую, загорелую дочернюю шею и стала вдруг удивительно красивой.

Она назвала эти шарики «жемчугом» и сказала, что их подарила ей бабушка на её восемнадцатилетие. И я был счастлив в тот день необыкновенно:

было лето, и я целый день — рядом с мамой! Потому что летом она «брала отпуск» и целыми днями в этом «отпуске» пропадала в лесу: сначала они всей школой пилили берёзы и заготавливали на зиму дрова для школы и для себя, а потом косила, гребла и копнила в том лесу сено и метала стожки, так что много дней подряд уходила рано утром, успевая лишь подоить и отправить в стадо корову, пока мы ещё спали, а возвращалась из леса поздно, с заходом солнца, опять доила корову, кормила нас с братишкой и укладывала спать — и всё это быстро, торопливо, без лишних слов.

Я, конечно, видел, чувствовал, какой уставшей она возвращается, и просился с ней на покос — хоть чем-нибудь ей помочь, но она не разрешила. Тогда я однажды решил пойти туда сам, днём, без разрешения — дорогу туда я уже знал. Но братик, с которым я в тот день «водился», увязался за мной, и я, боясь, что он начнёт реветь и мой замысел откроется бабушке, взял его с собой.

Всё было хорошо, пока мы с ним шли по мягкой, горячей дорожной пыли, приятно обжигающей босые ноги — надо ли говорить, что всё лето, с конца мая до начала сентября, мы бегали только босиком и наши подошвы могли терпеть всё, кроме разве что извечных наших врагов того времени — колочек бодяка и боярышника?

Но как только мы добрались до покосов и пошли по уже засохшей и оттого колкой стерне, нежные подошвы моего братика не выдержали — он что есть мочи взревел, сел на землю и, сколько я его ни тянул, уже никуда не хотел идти, ни вперёд, ни назад. Выручила какая-то женщина: подошла, взяла его на руки и понесла искать нашу маму, а я поплёлся за ней.

Покос наш был ещё далеко-далеко, но мы пришли, наконец, туда, и женщина передала братца маме:

— Забирай, Вера, своих молодцов!..

Ох и влетело мне тогда от мамы! Никогда ещё я не видел её такой сердитой.

Она усадила нас в шалашике под берёзой, сделанном из берёзовых же веток и свежего сена, разожгла небольшой костерок, чтобы отгонять дымом паутов, дала нам по куску хлеба и огурцу и пошла грести сено: в деревне, как известно, летний день год кормит, особенно на покосе, и она очень торопилась.

Кажется, нет ничего вкуснее чёрной хлебной горбушки со свежим, хрустким, брызжущим соком огурцом, да если ещё есть их в густой берёзовой тени, да на охалке свежего сена, да под лёгким дымком от берёзовых и таловых головешек! — только, как потом спохватился я, ведь мы с братишкой в тот день спокойно умяли весь мамин обед...

А между тем настал полдень, время самых злых паутов; не обращая внимания на дым костра, они так свирепо набросились на нас с братцем,

одетых лишь в трусы с майками, что братишка мой взревел с новой силой, и мне пришлось всё время обмахивать его — да и себя тоже — берёзовой веткой, пока через несколько часов не явился перед нами серый в яблоках школьный конь Серко, запряжённый в телегу с ворохом сена в ней, а в телеге — школьный конюх Арсений; мама усадила нас в телегу и отправила домой. Так вот неудачно закончился тот мой порыв помочь ей.

А сейчас — или закончились все мамины лесные работы, или праздник какой-то был? — она целый день оставалась дома и стояла теперь в светлой, полной солнца комнате перед зеркальцем, чисто вымытая, загорелая, в белой блузке с красивой вышивкой по ней красно-чёрными крестиками, с короткими рукавами и открытой шеей — и с жемчужным, в два оборота вокруг шеи, радужным ожерельем, и я, неожиданно для себя, вдруг увидел её совсем по-новому: не вечно торопящейся, не в заношенной одежде — а необыкновенно красивой. Я замер перед нею, даже, кажется, открыв от удивления рот, и когда она, оторвавшись от зеркальца, повернулась ко мне, поняв, видно, что я замер, — я от волнения едва смог произнести:

— Мама, какая ты красивая! Ходи так всегда!

А она рассмеялась и сказала:

— Вот вернётся папа с фронта — тогда! — и снова спрятала ожерелье в сундук.

А следующей весной, когда я уже болел, через некоторое время после прихода Вячеслава Палыча ко мне, она ездила в райцентр, и потом у нас в доме появились наивкуснейшие в мире каши, каких я ещё никогда не едал: гречневая и — конечно же, самая-самая прекрасная — манная!.. И ещё у нас появился «кагор»: пряное, густо-багряного цвета лекарство в большой зелёной бутылке с красивой золочёной этикеткой. Меня тогда лечили сразу несколькими противными жидкостями — в том числе и рыбьим жиром — да целыми столовыми ложками! Я изо всех сил напрягался, чтобы проглотить их, — и глотал только потому, что где-то в середине болезни мне очень захотелось выздороветь. А в награду получал теперь чайную ложку этого самого сладко-душистого «кагора», и жизнь моя благодаря ему затеплилась веселее, будто в моей крови вспыхнул огонёк...

Но мамино ожерелье я больше никогда не видел. Даже забыл о нём. Но когда вспомнил однажды, уже взрослым, — меня вдруг осенило, куда оно делось.

И вот мы с мамой идём на митинг нашей улицы, где сугробов, в которых я всего полтора месяца назад тонул, уже нет и в помине; ступаем по зелёной бархатной травке, проклюнувшейся из влажного чернозёма на дороге, вдоль ещё сырых изгородей, сплетённых из ивовых прутьев,

и у каждого плетня — свой рисунок: то — шашечной доской, то — винтом, то — девичьими косами. А за плетнями курятся зелёные облака черёмух в прозрачных зелёных листочках и завязях; скоро эти облака набухнут и закипят белой пеной; да одна из них, вросшая в тёплую завалинку дома, уже польхнула белым цветом, и от неё текут по улице горько-душистые волны.

Мама, крепко держа меня за руку, торопится, и мне так легко рядом с ней, что хочется сразу и бежать вприпрыжку вперёд, и идти с ней в ногу, и я без конца *переступаю*, чтобы попасть в такт её торопливому шагу, и всё сбиваюсь; от слабости после недавней болезни и от обилия душистого, вкусного воздуха слегка кружится голова.

— Теперь скоро папа вернётся, — говорит она. — Ты помнишь его?

Смешно: как же мне его не помнить, если он всего два года как ушёл на фронт? Он учитель, и его взяли не сразу. Только не умом помню — а осязанием, обонянием, слухом: какой он резкий, с громким голосом, с твёрдыми пальцами... и память моя о нём не тянется во времени, а вспыхивает короткими молнивыми зарницами.

Самая яркая — как мы с ним идём по косогору дальним краем села, за которым большое озеро внизу. Ветрено, пасмурно; он торопится куда-то и тащит меня за руку, а я никак за ним не поспеваю. Но вдруг он останавливается как вкопанный и смотрит вдаль; от неожиданности я наталкиваюсь на него и — тоже смотрю туда. И, будто очнувшись ото сна, вижу такое, что перехватывает дыхание: дорога вместе с домами по одну сторону от неё круто пошла вправо, и прямо перед нами распахнулся огромный простор во все стороны — и большое озеро внизу, под косогором, и неоглядная даль за ним, и огромное небо надо всем этим, всё в клубящихся тучах. Сквозь прореху в них бьёт в середину озера столб света, и вода там вскипает зелёными волнами, вспыхивая огненными бликами на гребнях так, что больно глазам...

И отец, и избы при дороге, и сам я показались мне вдруг такими маленькими в этом необъятном пространстве — но оттого, что мы все так малы, совсем не страшно; сердце теснит ещё непонятное чувство близкого родства с отцом, с этими избами и этим пространством, имени которого — родина — я ещё не знаю, и не знаю ещё, что уже спаян с ним навечно, — но именно в тот момент оно, это чувство, проснулось и поселилось во мне и владеет мною с тех пор, ставши частью души... И ведь я знал, знал тогда, что и отец чувствует то же самое, только, не в силах перевести своего чувства на понятный мне язык; лишь показывает пальцем вдаль и говорит с азартом охотника:

— Смотри, смотри: во-о-он там — видишь? — утки сидят!

И я в самом деле увидел множество рассыпанных на волнах чёрных точек: они то появляются на гребнях волн в центре огненно-зелёного сияния, то исчезают в провалах...

А уезжая на фронт, он, уже в шуршащем, добела выгоревшем от солнца плаще, в серой кепке, с рюкзаком за плечами, берёт меня на руки, прижимает к колючей щеке так, что, кажется, сейчас раздавит, потом поднимает под потолок и говорит:

— Расти тут без меня во-от такой большой! — и смеётся.

Но что это за вода текла тогда у него по щеке? И почему он так странно со мной прощался — будто надолго-надолго или навсегда?..

И последнее: дорога среди осенних картофельных полей с сухим бурьяном на межах тянется вверх и вверх, уходя где-то там, на закате, за горизонт, и — далёкая телега на ней, а в телеге он и мама, провожающая его в райцентр. А я, проводив их до этих картофельных полей, стою и долго слежу за тем, как телега превращается в точку и точка растворяется без остатка — в небе ли, в сухой ли осенней дымке?..

А тем временем мы с мамой миновали нашу улицу. Дальше, мимо пустыря с озерком талой воды посередине — идти в другую половину села, туда, где магазин и сельсовет. Слева, за пустырём с озерком талой воды, — наша чёрная бревенчатая школа и широкий двор с расставленными там и сям гимнастическими снарядами.

Теперь, когда я стал первоклассником и проучился целую зиму, школа для меня наполнилась множеством новых впечатлений. Первое — это, конечно, наша учительница Александра Ивановна. Она дружила с моей мамой, и я знал уже, что она — эвакуированная ленинградка, и что у неё погиб там муж, и убиты на фронте двое юных сыновей, и мама её очень жалеет. Когда Александра Ивановна приходила к нам в гости, то ласково говорила со мной и братиком, гладила по голове, поднимала нас на руки и обнимала, затем вынимала из кармана куколку *бибабо* с платицем и, надев её на пальцы, показывала нам маленькие смешные спектакли, а потом говорила маме, что мы с братиком точь-в-точь похожи на её сыновей.

Я был настолько влюблён в неё, что просто не мог наглядеться на её светлый, прямо-таки небесный образ, прекрасней которого я до сих пор ещё не видел: чистое бледное лицо в седых бужках, голубые прозрачные глаза за чистейшими стёклами очков в тонкой, сияющей золотом оправе, зелёная, крупной вязки, кофта — и белая блузка с белопеным воротом; и ещё — таинственный прекрасный запах, исходящий от неё. Поначалу я думал, что именно так пахнут хорошие, добрые люди, но мама потом сказала, что это — французские духи... И как

же я был рад, как счастлив, когда она оказалась моей учительницей!

А другое главное впечатление — первый в жизни школьный новогодний утренник первого января 1945 года: зал, полный первоклассников, большая, до самого потолка, новогодняя ёлка, вся, сверху донизу, наряженная бумажными цепями и гирляндами бумажных флажков, которые мы сами же и клеили на уроках, и хороводы вокруг неё, и Александра Ивановна, царящая среди нас всех, и огромный аккордеон в её руках, сияющий цветным перламутром, щедро сыплющий по залу хрустальные звуки; ну и, конечно же, песенки и стишки самых смелых из нас.

Стишки, что читались, были так себе: про зайчиков, про белочек, — я их все прочитал и запомнил уже в пять лет, а мне так хотелось блеснуть перед Александрой Ивановной!.. Дома у нас имелись две книжечки стихов: Пушкина и Лермонтова, — и обе были озаглавлены одинаково: «Лирика»; я уже успел прочитать их обе с начала до конца, а некоторые стихотворения, те, что нравились больше всех, — и не по разу, а потому я смело влез на стул, громко объявил:

— Лирика Лермонтова! — я думал почему-то, что именно так надо назвать стихотворение, — и отбарабанил любимое:

Белеет парус одинокий  
В тумане моря голубом!..  
Что ищет он в стране далёкой?  
Что кинул он в краю родном?..

Ну и так далее, до самого конца... А потом слышал, как Александра Ивановна рассказывала маме со смехом:

— Я чуть не грохнулась на пол вместе с аккордеоном, когда этот карапуз произнёс с важностью: «Лирика Лермонтова!»...

Но самое-то главное на том утреннике было потом: каждому из нас вручили божественно вкусный подарок: пластик чёрного хлеба, а на нём — жёлтый слой сливочного масла, и поверху — белоснежный сахарный песок!

Я, конечно, не удержался, тут же лизнул его — и почувствовал, как каждая сахарная крупинка растворяется во рту и наполняет его сладчайшим блаженством, медленно растекаясь затем по всему телу, достигая, кажется, до самых пальчиков ног.

Но в эти же самые дни болел, простудившись, мой братик, и я решил не есть свой подарок, а отнести ему... Помню, как трудно было надевать пальтишко, шапку и вязаные рукавички, без конца перекладывая этот бутерброд из руки в руку. Но я всё-таки оделся и вышел на улицу, слегка задохнувшись морозным воздухом после душного тёплого помещения.

И тут я, неся этот бутерброд в вязаной рукавичке и неотрывно гипнотизируя его взглядом,

почувствовал страшный голод; чтобы утолить его, я откусил маленький-маленький уголок, и снова во рту наступило блаженство...

Я старался жевать этот твёрдый сухой уголок как можно медленней, чтобыхватило подольше, и всё же он оказался мгновенно сжёванным и проглоченным. Я снова откусил—и снова всё случилось мгновенно. А голод душил всё сильнее, и снова я откусывал, хоть и совсем крошечными кусочками. Между тем небольшой этот бутерброд быстро, просто катастрофически таял в размерах. От стыда, от бессилия и обиды на самого себя, на свою слабость и бессилие удержаться у меня потекли слёзы, и всё-таки, не в силах остановиться, я продолжал помаленьку откусывать и откусывать...

И всё же мне удалось донести до братишки почти половину этого злосчастного, такого божественно вкусного бутерброда, подобного которому ещё никогда в жизни ничего не пробовал!..

И вот теперь, идя с мамой мимо школы и уже почти поравнявшись с нею, привычно взглядываю туда... Но что это? Там на жухлой жёлтой траве за штaketником—что-то большое и серое, а рядом—двое взрослых.

— Мама, что там такое? — напряжённо вглядываюсь, показывая туда рукой.

— Там Серко лежит, — отвечает она.

— А что с ним? — спрашиваю уже с тревогой.

— Он... он умирает.

— Как? — вскинулся я. — Серко?... Не может быть! Мама! — я останавливаюсь и гляжу на неё с отчаянием.

Идти на митинг, когда Серко умирает? Мне стыдно за неё: она всё забыла?..

— Ну что ты, что? — пытается она меня успокоить. — Я была там. Там Константин Никитич с Орсей остались. Мы ничем не поможем. Пойдём, пойдём.

— Мама! Я не хочу на митинг!

— Сынок, но это... это не для тебя зрелище! — тянет она меня за руку.

— Почему он умирает, мама?

— Он надорвался. У него большое сердце.

— Мама! — умоляю я. — Я гляну—и догоню!

— Но ты же хотел на митинг!..

Мы ещё некоторое время препираемся. Наконец из какого-то соображения она разрешает мне:

— Хорошо, сбегай, только быстро...

Но теперь, когда разрешено,— мне вдруг стало страшно встретиться со смертью: от этого шуршащего слова тянет жутким холодом... Однако желание пойти туда пересиливает, и я бегу со всех ног, боясь не застать чего-то важного. А бежать далеко: до дыры в штaketнике, сразу за углом забора.

И я добежал. Будто боясь что-то спугнуть, подхожу неслышно. Серко лежит на боку с вытянутыми ногами, положив на землю голову, а над ним

стоит директор школы Константин Никитич и конюх Арсений, по-деревенски—Орся.

Неулыбчивый директор— в тёмном пиджаке с чёрной косовороткой и в высоких, до колен, хромовых начищенных сапогах; кряжистый Орся с деревянной ногой— в рваном ватнике; на красном обветренном лице его— небесно-голубые глаза и седая щетина. Перед ними на траве— пустое ведро. — Здравствуйте, — почти шёпотом здороваюсь я.

Директор мельком глянул на меня сверху вниз. Узнал или нет?

— А тебе чего тут надо? — обернулся Орся.

Я яростно глянул на него и отодвинулся подальше.

— Это— счетоводшин, — пояснил директор.

— Да знаю! — отозвался Орся и тут же потерял ко мне интерес.

Директор суров, худ и тёмн лицом. Ученики его боялись. Я тоже побаиваюсь, но меня тянет к нему любопытство. Совсем не потому, что мы соседи— он живёт наискосок от нас, и не потому, что он— редкий мужчина в селе и директор. Тянет исходящая от него тайна: во-первых, он «язвенник», а во-вторых, несмотря на его устрашающе-серьёзный, даже хмурый всегда вид, знаю: в душе он— добрый. И так получилось, что Серко и директор слились для меня в нечто общее.

Меня неудержимо влекло к лошадям, но единственной лошастью, с которой я тогда имел возможность общаться, был Серко. Потому ли меня влекло, что он был для меня живым воплощением силы, от которой скрипит толстая ремённая упряжь и стальной сверкающий лемех плуга, который он, упираясь, тащит, с гулом взрывает толстый слой земли, оборачивая его чёрно-жирной изнанкой? Запах ли пахучего конского пота влёт, самый, казалось, прекрасный на земле запах? Или прихотливые изгибы конского силуэта, точёные линии его головы, шеи, ног? — мама говорила, что Серко— выбракованная упряжная рысистая лошадь.

Меня влекли тайна силы и тайна красоты— хотелось быть причастным к ним, и, несмотря на окрики взрослых: «Не лезь, укусит!.. Не подходи, лягнёт!»— я искал случаев, чтобы подойти к Серку. Даже, зная, что он— спокойный, набирался смелости дотронуться до него и погладить по шелковистой шерсти на груди или плече.

Беззубая бабушка не могла одолеть хлебных корочек и копила их, чтобы варить из них летом квас, а я тихонько крал одну-две из них, чтобы отдать коню, со страхом и восторгом обмирая, когда он огромной шелковисто-мягкой губой острожно брал их с моей ладони. И пока он, гремя удилами, хрустел ими, я напряжённо глядел в его огромный фиолетовый глаз, а конь кивал мне и улыбался, скаля зубы.

Намного позже, уже подростком, когда я на­кидывал узду на другого коня, злого и капризно­го, — тот неожиданно резко повернулся ко мне крупом и взбрыкнул; я отскочил, и заднее копыто свистнуло мимо уха; я с ужасом понял, что мог быть сейчас убит. Но то был уже не Серко, пер­вый в жизни знакомый мне конь, понятливый и добрый. Кони — они как люди: разные.

Серко был единственной в школе лошадей; на нём возили учителям дрова и сено и пахали ого­роды. Дрова и сено возил Орся, а огороды пахал сам директор. И вот в прошлом году, весной, в последнюю пахоту на Серке, угадав моё заветное желание взобраться на коня, он сказал:

— Ну, давай, солдат, держись! — поднял меня и усадил верхом, пока конь, измотанный бесконеч­ными пахотами, стоял на меже не распряжённым и, отдыхая, жадно рвал губами молодой пырей, сочно хрустя им, гремя удилами и пуская меж губ зелёную пену.

А я, не дыша, сидел на нём верхом, намертво вцепившись в стриженую тёмную гриву, и испы­тывал блаженство.

А разве забыть, как мы с мамой копали в поле картошку? Сам я из-за малосильности только подносил пустые мешки и держал их, пока она ссыпала в них картошку, а когда выкопали всю — пошла за Серком, чтобы её вывезти, и оставила меня караулить мешки. В тот день многие копали и возили картошку; мама, видно, ждала, когда кто-то увезёт свою, и я сидел там долго-долго. Начало темнеть, на других делянах затихали голоса. Пятки чесались сорваться и бежать что есть мочи вслед за уже далёкими голосами, но я сидел и сидел на мешках, боясь шевельнуться и с тайным страхом вслушиваясь в шорохи вокруг.

И как же сладко было услышать вдали сначала тележный скрип, потом — фырканье коня и нетерпеливый голос мамы, понукавшей Серка. Вымотанный конь не хотел переходить на рысь, и тележный скрип тянулся бесконечно. Потом мама, заблудившись в потёмках, остановилась где-то недалеко и крикнула, чтобы я отозвался. Тут уж я орал изо всей мочи. И — наконец-то! — надви­нулась на меня огромная в темноте лошадиная морда, такая родная — что хотелось броситься к ней и горячо с благодарностью обнять.

— Ты не плакал? — спросила мама, и я удивился: как, разве можно было ещё и поплакать?..

Потом мы грузили на телегу мешки. Мама при­ехала молчаливая и сосредоточенная и не пела, как всегда; это было так на неё непохоже — видно, ей пришлось с кем-то поругаться, прежде чем взять коня. Было жалко её; я очень хотел ей помочь и суетился, а она, уже выбившись из сил, то кричала на меня, чтобы я не мешал, то просила припод­нять хотя бы угол мешка, чтоб удобнее взяться, то умоляла меня не поднимать его самому:

— Не смей, надорвёшься!

Но мне эти её окрики были как песня; и ночь уже не страшила: главное — с нами был наш спа­ситель Серко.

Но на Серке не только пахали, возили картошку, дрова и сено — на нём ещё, поставив на телегу или на сани плетённую из прутьев *кошёвку*, ездил по делам в райцентр директор. И на нём же ездила в районный банк мама.

Однако, оборачиваясь туда и обратно за день, возвращалась она поздно. Бабушка укладывала сморённого братишку спать, и мы с ней, зани­маясь своими делами, ждали её; мама приезжала обычно с покупками для нас или для знакомых и — с новостями.

Однажды она задержалась очень поздно. На улице набирал силу мороз, бревенчатые стены потрескивали; бабушка всё больше волновалась, и её волнение передавалось мне. Она отсылала меня спать, но я не желал, и она ворчала. Однако ворчала она, я чувствовал, не всерьёз: вдвоём было не так пусто и одиноко.

В то же время мы, не сговариваясь, чутко вслу­шивались в тишину. Я всё чаще бегал к окну, чтобы, просунув голову меж горшков с цветами, глянуть на улицу. Глядеть было трудно: нижние стёкла зимой обрастали толстым льдом, и я большим латунным пятакон, нагретым на плите, протаивал в нём *глазók*. Однако полностью очистить стекло в глазке не удавалось, и наружный мир сквозь него виделся фантастически искривлённым. Особенно фантастическим он был в тот вечер: на улице стояла полная луна, освещая сугробы мёртвым зеленовато-голубым светом; я смотрел на этот, казалось, навечно застывший пейзаж, а губы сами собой шептали:

— Мама, ну приезжай скорее!..

Но вот раздался скрип снега на дворе. Я гля­нул в глазок: стоит у ворот подвода! Меня будто ветром подхватило: я — к двери, шапку с шу­бейкой наспех — на себя, и — на улицу. Бабушка вслед:

— Ах ты, сорванец!.. — да мне уже не слышно, чем она кончит фразу: вылетаю на крыльцо и прыгаю вниз — помочь маме открыть ворота.

Наконец ворота распахнуты; она под уздцы вводит коня во двор, распрягает и ведёт в сарай. Он уже знает это и сам туда торопится.

В сарае после голубого лунно-снежного блеска — непролазная темь, надышанное коровой тепло, густой запах мочи и навоза. Пугливо шарахаются в темноте овцы, корова отзывается доверчивым мычанием...

— Уходи отсюда, пимы испачкаешь! — кричит на меня мама; я выхожу и терпеливо жду её снаружи.

Она задаёт коню сена, выходит, плотно прикрыв дверь, затем, подойдя к саням, роется в кошёвке,

достаёт из сена портфель, и наконец мы вместе с клубами густого пара вваливаемся в дом.

Убабушки уже готов для мамы ужин на столе, но маме не до него: скинув огромный, до пят, бараний тулуп, пальто и два платка, она первым делом идёт к плите и отогревает руки, затем попеременно жмётся к обогревателю спиной и грудью.

— З-замёрзла, как с-собака!— говорит она, когда губы начинают её слушаться.

Отогревшись, она садится наконец за ужин и на бабушкино ворчание:

— Почему так поздно? Надо было остаться в райцентре!..— уже повеселевшая и ещё возбуждённая ездой, не в силах молчать, отвечает:

— Скажи спасибо Серку, что нас с ним сегодня волки не задрали!..

И начинает рассказывать, что с ними случилось: как выехала она из райцентра засветло, но, отъехав километра три, встретила обоз с сеном; широкие сенные возы загородили дорогу, а Серко, не желая лезть в снег, заупрямился. Тогда с переднего воза слез мужик, выхватил у мамы кнут и *перетянул* им Серка так, что тот единым махом прыгнул далеко в сугроб, а мужик, забравши кнут, поехал себе дальше. «Отдай кнут!»— кричала ему мама, боясь вылезти из саней: под нею в сене лежал портфель с деньгами,— но мужик только расхохотался: «В следующий раз, тётка,— самому нужен!..»

Кое-как вытащила она Серка из сугроба и поехала дальше. Только, уже приморённый, торопиться без кнута Серко не желал, и— ни кустика рядом с дорогой, чтоб выломать хворостину. Так и плёлся он чуть не всю остальную дорогу шагом, лишь изредка переходя на рысь, когда мама, выйдя из себя, начинала хлестать его вожжами— да только что лёгкие вожжи изработанному коню? И, наверное, доехала бы лишь к утру, если бы километрах в двух от села позади них не показались волки— тут, учуяв их, Серко без всякого кнута рванул вскачь, да так, что мама вцепилась в сани и молила судьбу, чтоб не опрокинулись... А как только влетели в село, залаяли разом собаки, и волки отстали, он, вконец вымотанный, опять начал еле переставлять копыта, да ещё, когда ехали мимо школы, упёрся, никуда больше не желая идти. Но у мамы самой уже не было сил идти домой пешком— от пережитого страха подкашивались ноги, и она гнала Серка дальше...

А сейчас он лежал на боку с запрокинутой головой, тяжело дышал, и по его бархатисто-серой шкуре с толстыми жилами под ней пробегали судороги. Но он был жив: заметил меня, скосил свой фиолетовый глаз, в котором отразились мы, все втроём, и прянул ухом. Узнал? Вспомнил хлебные корочки? Даже, кажется, вздохнул— будто сказал: да, брат, плохо мне,— затем его выпуклый

тёмно-фиолетовый глаз снова уставился в пустоту синего неба с белыми барашками на нём.

Но когда конь встрепенулся при моём приближении, директор глянул на него с интересом и сказал:

— А что, Арсений, давай-ка дадим ещё горлице? Может, подыметса?

— Пряма не знаю, Никитич,— пожал плечами Орся. — Ты же конюх, должен знать!.. Тащи воды!

Орся поднял ведро и, монотонно скрипя деревянной ногой, поковылял на задний двор, к колодезю, а я с тоской смотрел ему вслед: как медленно он идёт!— и набирался решимости: пойти— не пойти помочь? И когда он уже скрылся за углом сарая— сорвался следом, и стоял потом за его спиной, пока он поднимал журавлём воду, и робко предложил, когда он налил наконец полведра из колодезной деревянной бадьи:

— Можно, я понесу?

— Неси,— разрешил он.

Я с радостью ухватился за дужку и, стараясь не плескаться, единым духом пронёс ведро от колодца до коня и поставил перед директором. Орсиная деревяшка ещё долго скрипела позади.

Директор вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку, до половины наполненную тёмной густой жидкостью, и вылил часть её в ведро. — Не много ли?— спросил Орся, доскрипывая последние шаги.

— А вдруг да?...— сказал директор.— Держи голову!

Орся взялся поднять голову Серка— и не мог: не хватало сил. Директор поставил ведро рядом с лошадиной мордой и стал помогать Орсе; вдвоём они кое-как подняли её и стали совать губами в ведро; Серко сопел, хлюпал в воде носом, но пить не желал. Они оставили, наконец, его в покое, и конь опять бессильно положил голову на траву.

Орся то вздыхал и ходил вокруг коня, то, не зная, что ещё сделать, норовил положить его за прокинутую голову поудобнее.

Конь лежал неподвижно и дышал всё реже и тяжелее. А я всё смотрел в его глаз— в нём одном ещё чувствовалась жизнь— и заметил, как в углу глаза накопилась капля и тихо сползла вниз. Лошадь понимала своё бессилие.

Заметил и Орся:

— Ишь, плачет. Прощается.

— Брось ты выдумывать!— раздражённо бросил директор.

Орся ничего не ответил, только понуро покачал головой.

Ещё не знакомый с человеческой иерархией, как я ненавидел в тот момент директора и презирал Орсю за его лёгкое согласие: как густо и сочно всё было окрашено для меня в то время приливами состояний любви, ненависти, презрения, сочувствия, сожаления, стыда, страха, восторга, горя

и удивления! Иначе я и представить себя не мог — вся жизнь моя тогда была окрашена ими, они переполняли меня, я задыхался от их избытка... Но я ничем не выдавал себя — к тому времени я уже научился ловко притворяться перед взрослыми. Я уже знал точно: им казалось, что я ничего не понимаю из того, что понимают они, — и возражать им было не только бесполезно, но и опасно: на тебя смотрят, как на муху, спорить с которой — значит, опуститься ниже своего достоинства, и которую хочется прибить с досады. Мне часто бывало стыдно за них... Тут директор вынул из нагрудного кармана часы на цепочке, посмотрел на них и сказал:

— Ну что, Орся? Мне надо на митинг... Да, видно, не жилец... Но, может, отлежится — тогда попробуй ещё горлицвета! — директор отдал Орсе бутылку с остатками тёмной жидкости и пошёл к калитке.

Я осмотрелся; мимо забора в сторону сельсовета шли люди. Я вспомнил, что тоже хотел туда, но жалость к Серку не отпускала меня. Я продолжал внимательно смотреть в глаз Серка — он один продолжал быть живым: влажно блестел и отражал небо; дрожали белёсые ресницы.

Но вот глаз полузакрылся, начал уходить в себя, тухнуть и подёргиваться мутной пеленой; чтобы всмотреться в него, я присел на корточки.

Вдруг конь резко поджал под себя ноги и попытался упереться ими в землю, чтобы вскочить — раз, другой; но ничего уже не мог, и ноги его опять расслабленно вытянулись.

— Знаешь что, паря? — сказал мне тогда Орся. — Неча тут торчать, давай-ка тоже туда! — он махнул рукой в сторону сельсовета.

Я встал с корточек и, глядя в землю, побрёл к калитке, в которую ушёл директор. Однако шёл я, еле волоча ноги и оглядываясь: всё казалось, что сейчас что-то должно произойти — какое-то знамение... Но ничего не происходило.

Я обратил внимание, что иду по цветам. Огляделся вокруг — и в самом деле, по всему двору на молодой траве высыпали одуванчики, как золотые веснушки на зелёном теле земли: согретые солнцем, они враз раскрылись! И чуть не в каждом жадно барахтается голодная пчела или шмель...

Я старался шагать, не наступая на цветы, но тут вдруг взял и раздражённо растоптал один, в котором купалась пчела, а потом оглянулся и посмотрел. Раздавленный цветок и раздавленная пчела — и опять ничего не изменилось. От нестерпимой боли в душе хотелось плакать, и было не до митинга. Я шёл туда — и не шёл.

В одном месте дорогу к сельсовету подмывала река, и когда я бывал тут, то останавливался посмотреть, как она рушит глину, настырно вгрызаясь в крутояр. Остановился и сейчас, скользя взглядом

по обрыву, облепленному жёлтыми цветочками мать-и-мачехи, и глядя на водовороты мутно-пенистой воды под обрывом. Не помню, о чём я думал тогда, но в голове моей шла мучительная работа... Только, помню, поднял голову и обвёл кругом будто бы не своим, а чужим каким-то взглядом, и мне показалось, что всё вокруг, в том числе и я тоже, не само по себе — а лишь отражение в чьём-то огромном холодном глазу...

Тут со стороны сельсовета раздалась частые выстрелы. О-о, да там что-то интересное! Схватившись, я что есть мочи побежал туда.

Но когда пришёл к сельсовету, с митинга уже расходились. Навстречу шла группа женщин; одни вскрипывали, другие радовались и возбуждённо говорили; за ними шёл Коля-Мордвин с охотничьим ружьём за плечами; шёл сухонький седой Матвей Хименков в штопанной-перештопанной, выгоревшей добела гимнастёрке враспояску, в таких же галифе и галошах на босу ногу.

Матвей догнал женщин, достал из кармана потёртую, сложенную во много раз газету, развернул и, тыча пальцем в фотографию военного, начал горделиво хвастать, безмятежно улыбаясь выцветшими глазами в красных веках:

— Видали? Мой-то Егор — сталинский сокол! Двадцать семь самолётов сбил, во как! Дважды Герой! Скоро вернётся — письмо прислал...

Женщины дружно закивали: — Да, Матюша, молодец твой Егор! Приедет, раз обещал, — как же не приехать к родному *тятю*? Денег привезёт, приоденет тебя! Вот порадуешься-то...

Только знали они: никакой его сын не лётчик — рядовой пехотинец он был, и в первый же год войны пришла на него похоронка...

Коля-Мордвин, мой сосед, казался мне тогда большим и взрослым, хотя его ещё не призывали в военкомат. Зимой он ловил на петли зайцев, весной и осенью стрелял уток (всю добычу ему надо было сдавать), а летом рыбачил с бригадой. Мы с ним дружили, то есть, попросту, я таскался за ним, зимой — карауля его санки с застывшими длинными, длинней моего роста, белыми зайцами, пока он бежал на лыжах расставленные по буреломам петли, или мешок с битыми утками — осенью, пока он *скрадывал* очередную стаю, а летом я таскал пустые ведра, пока рыбаки заводили на реке, по озерам и старицам очередную *тоню*. Но доставались мне там и трофеи: прямо в опрокинутую кепку мне насыпали рыбной мелочи — золотых «сопливых» карасиков и шершавых зеленоспинных окуньков с густо-алыми плавниками, — и я бежал домой хвастаться: вот сколько заработал!..

— Что ж ты, сосед, опоздал-то? — весело упрекнул меня Коля. — А мы салют давали. Из шести ружей! Пошли домой, ничего больше не будет!..

Но мне не хотелось домой—надо было рассказать маме про смерть Серка, а найти её было просто: после митинга на площади осталось полно людей—чуть не всё село, и уходить с праздника домой никому не хотелось; разбившись на кучки, они возбуждённо все враз говорили, смеялись, переключались со знакомыми, так что над площадью стоял сплошной гомон. Это было невероятно и озадачивало меня—впервые в жизни я видел столько радостных лиц и возбуждённого блеска глаз!..

И там было полно ребятни; ей передалось это всеобщее возбуждение взрослых—она носилась между ними и галдела не меньше их.

Там были и наши пацаны...

В школе или по дороге из школы деревенские пацаны между собой не дрались, но как только ты оставил дома школьную торбу и вышел на улицу—сразу начинал принадлежать только своей улице: ходить одному на чужую улицу было небезопасно—могли и *отлупить* только за то, что это их, а не моя улица; так что обстоятельства вынуждали сбиваться в ватаги.

В нашей ватаге атаманил Толян... Ему—двенадцать, предел для *пацана*: после двенадцати уже стыдно было *водиться с мальшинёй*—наваливались взрослые дела. Да наш Толян и так чувствовал себя почти взрослым: гудел баском, стрелял из *поджиги* (медной трубки, сплюсненной с одного конца и примотанной к деревянной ручке); эта *поджига* лихо и как-то нарочито торчала всегда из голенища его больших и широких отцовских сапог, в которых его тонкие ноги болтались, как деревянные песты в широких же деревянных ступах, в которых «крушили» (очищали от шелухи) просо, а сами его сапоги, хляба, когда он ходил, бухали по земле, словно колокола.

А ещё, на зависть остальным пацанам, он носил на голове настоящую военную фуражку с лаковым козырьком. Правда, козырёк этот был посередине сломан, и одна половина его болталась, свесившись; зато вторая, целая половина козырька по-боевому торчала вперёд.

*Свой пацан* мог и поспорить с Толяном, даже поддразнить—в ответ тот лишь *ставил щелбан на лысине*, и то—вполсилы, шутя. Но во враждебной среде—а она за пределами улицы была всюду—полагалось подчиняться ему и слушаться: ведь он был самым старшим в ватаге нашей недлинной надречной улицы—стало быть, вроде как отвечал за остальных и от этого становился важен и немногословен.

*Наших пацанов* набралось тогда четверо, и они уже уходили.

—Вы куда?—спросил я.

—На *кудыкину гору*,—ответил мне Толян басовито-насмешливо.

Но любому другому из них не зазорно было ответить мне честно, и один из них сказал, что они—в лес, нарвать *мамкам* цветов. Я представил себе, как мама моя обрадуется им в этот день, и отчаянно запросился с ними; однако Толян важно возразил:—Ты ещё маленький—в лес; подрасти.

Я-то подозревал, что он просто боится моей мамы. Пришлось убеждать его и всех остальных заодно, что ещё прошлым летом я уже ходил туда один—носил маме обеды на покос, и они меня взяли... Мы свернули в проулок и вышли на выгон.

И тут всюду тоже—рассыпанные в молодой траве одуванчики... В небе, будто подвешенные на солнечных лучиках, висят, трепеща крылышками, жаворонки, и от их трелей звенит и лучится воздух.

Лес—в километре отсюда.

Этот лес обогрел и кормил всё село: в нём пилили дрова, косили сено, собирали грибы и ягоды, а весной учителя водили туда школьные классы заготавливать берёзовые почки для фронта... И в тот же лес тянулись вёснами в поисках приключений и блуждали в нём мальчишечьи ватаги.

По дороге я рассказываю им, что видел сейчас, как умирает школьный конь Серко. Сразу несколько *пацанов* предлагают Толяну дать крюка и тоже посмотреть—им завидно, однако он диктаторски пресекает предложение.

И вот мы вступаем в лес. Кругом белые берёзовые стволы поддерживают навес из пока что дымчато-зелёных крон. Солнечные блики пронизывают их насквозь и, рассыпаясь вдребезги, падают в ещё жухлую траву. Тихо—будто заложило уши; слух улавливает лишь птичьи голоса: еле слышно попискивают мелкие птахи; перекрывая их писк, невидимая иволга изредка звучно высвистывает где-то недалеко: «Никиту видел?» Сразу несколько мальчишек берутся передразнить её свистом; тогда прямо на нас выпархивает яркая жёлто-зелёная птица и—шарахается прочь под общий смех...

Слышна далёкая, как эхо, кукушка... Перед нами перепархивают, недовольно стрекочут, гонят нас дрозды: «Пошли, пошли прочь отсюда!» Но мы и так идём дальше—цветов пока мало: тут пасётся скот, ходят люди. Толян знает, где их много, и уверенно ведёт нас вперёд.

И наконец мы приходим на нетронутые цветочные поляны: в частом березняке сплошь кустанятся синие медуницы; на открытых солнечных взгорках от лёгких дуновений колышутся на тонких ножках целые поля белых ветрениц-анемонов; среди них промельком—малиновые искры примул; а во влажных низинах, среди уже сочной зелени и крохотных голубеньких незабудок, чистым золотом отливают огненные цветы купальниц.

По-разному, но с одинаковой нежностью—«жаркками», «огоньками»—зовут их в разных местах Сибири. И в самом деле: заглянешь внутрь

цветка—там полыхает, не сгорая, маленький жаркий огонь с многоязыким чистейшим пламенем... Помню, уже взрослым я впервые увидел цветы купальницы европейской и поразился невзрачной—лунной, зеленовато-жёлтой—её бледности. В этой бледности есть своя скромная красота—но ни в какое сравнение она не идёт с праздничным нарядом купальницы азиатской. Для сибиряка она—символ солнца и одновременно—весны, такой долгожданной в Сибири, такой скоротечной, стремительной и полной резких погодных контрастов: то тропически-жаркой, то вдруг дохнувшей арктическим холодом и дождём пополам со снежной крупой...

— Вот они где!—с царским достоинством обвёл рукой Толян, щедро дая эти поляны нам.

И мы берёмся за дело, выбирая самые сочные, самые крупные, самые красивые—на радость мамам... Букеты собрали быстро... А день всё длился и длился; уже столько событий случилось, а он лишь едва-едва успел перевалить за середину.

И тут мы спохватились: мочи нет, как хочется есть! А еда—кругом...

Меня начали учить её добывать, и я на ходу усваивал эту науку (которая потом помогала мне ещё не раз): мы рвали сочные цветоносные стебли медуниц, очищали их от листьев и шершавой кожицы и жевали хрупкую зелёную мякоть этих стеблей, а выдёргивая из цветоложа синие цветки, откусывали их белые сладкие цветоножки; мы отыскивали молодые стреловидные листики щавеля, сизые побеги лука-слезуна, тонкие пёрышки дикого чеснока и совали, совали всё это в рот; мы обрывали свеженькие, ещё тонкие, как мышинные хвостики, побеги тальника, счищали с них тонкую молодую кожицу и хрустели сладковатыми зелёными стебельками; мы выдирали из листовых пазух белёсые, жёсткие, высокие уже побеги пырея и обкусывали их мягкие сладкие кончики. Мы искали торчащие из земли, как бело-розовые кулаки, молодые ростки ревеня и съедали их полностью...

Особенно лакомы были луковицы лилии-саранки, «царских кудрей», этих хрупких цветов с круто завитыми лиловыми лепестками; найдя стрелку побега, мы выковыривали из земли жёлтую луковицу и, кое-как оттерев от грязи и набив ею рот, с хрустом, брызгая соком, жевали её.

Но—странное дело: по мере того, как мы набивали животы, есть всё хотелось и хотелось—энергия, истраченная на добычу еды, не восполнялась. При этом азартная погоня за ней уводила нас всё глубже в лес... Стало жарко; наши цветы начали обвисать, и ребята бросали их: новые собрать! Однако я нёс свои упорно.

Мы замечали бурундуков, но они, уже явно знакомые с человеком, быстро прятались; однако один,

весёлый и любопытный,—молодой, наверное, совсем ещё мальчишка!—нисколько нас не боялся; лес становился глуше, и он, легко перебегая с валежины на валежину, замирал, став столбиком, оглядываясь на нас и посвистывая—будто приглашал к игре. И Толян не выдержал—схватил с земли палку; остальные, заражённые его азартом, тоже похватили палки.

— Зачем вы? Не надо!—закричал я, чуть не плача.

Но куда там: они лишь отмахнулись от меня: — Да замолчи ты!..

Толян выбрал момент, когда бурундучок замер, швырнул в него палку—и попал; бурундук свалился в траву и пополз выше под валежину, но остальные пацаны настигли его, добились и теперь стояли над ним, не зная, что делать дальше. Я протиснулся сквозь кружок—посмотреть, что с ним стало.

Зрелище было ужасное: рыжий полосатый бурундучок был расплюсчен; из заднего прохода у него вылезли кишочки, а во рту сквозь длинные белые зубки пузырилась кровавая пена. Я посмотрел на товарищей недоуменно: я и не подозревал, что в них сидят злодеи!.. Странно как: каждый в отдельности—хороший пацан, у каждого своя улыбка, своя интонация в голосе, отличающая его от других,—но что с ними стало, когда они вместе: как легко и быстро от радости и добродушия переходят они к злобе!.. Как я их ненавижу в тот момент!.. И с той поры, и поныне ненавижу слепую, заразительную жестокость толпы: вот она, сторукая и стоглазая, основа агрессии по отношению к «другому», к «чужому», к не похожему на них!

А между тем по лесу стало трудней идти: кончились тропинки; чаще попадались толстые гнилые колоды, через которые надо перелезть; в прошлогодней некошенной, свалившейся траве путались ноги. В довершение всего мы упёрлись в ручей, текущий в низине среди непролазных зарослей.

Толян остановился в недоумении:

— Странно! Тут раньше не было ручья!..

Значит, надо возвращаться, только и всего... Сквозь заросли мы всё же пробрались к ручью, напились воды и повернули обратно, уже помалкивая, идя без остановок и без той беспечности, с какой нас сюда влекло.

Шли долго. Казалось, лес уже должен был кончиться, а ему всё не было конца.

Мало того, по-прежнему под ногами тянулась старая некошенная трава, и по-прежнему—ни дорог, ни тропинок. Беспокойство наше нарастало; медленно таял непререкаемый Толянов авторитет—ватага готова была взроптать на него. Да Толян и сам чувствовал беспокойство и растерянность.

Вдруг один из нас сказал удивлённо:

— Смотрите, собака!

Наискосок к нам в высокой бурой траве и в самом деле бежала большая серая собака со стоячими ушами и узкой мордой. О, как мы ей обрадовались!

— Это же Джек деда Пунделя! — спасая свой авторитет, бодро сказал Толян и в доказательство позвал: — Джек, ко мне! Джек, иди ко мне!

И мы, поддерживая Толяна, завопили скопом: — Джек! Джек! Иди к нам!..

Джек остановился метрах в тридцати, глянул на нас холодно и косо и, пересёкши нам путь, спокойно потрусил себе дальше, скрываясь за деревьями. А мы продолжали кричать, свистеть и улюлюкать ему вслед.

— Ха-ха! — презрительно фыркнул Толян. — Волкодав, а нас испугать!..

И когда он произнёс слово «волкодав», остальные напряжённо замолчали, а один высказал вслух не очень уверенную догадку:

— А ведь это волк!

Молчание стало тягостным. И нас сразу оглушила тишина; солнце померкло, упав куда-то за верхушки берёз и запутавшись в них, как в сетях. Лес вдруг показался непомерно высоким, глухим и чужим, а сами мы стали тесно сбившейся и испуганно озирающейся кучкой.

Однако Толян, к его чести, не дал поселиться в нас панике:

— Давайте, пацаны, найдём себе по хорошей палке!

Он будто кинул нам спасательный круг — все бросились искать палки. И я тоже принялся искать себе палку по силам, бросив свой вконец измученный и увядший букет. Зато с палками стало веселей и надёжней.

Однако лес по-прежнему никак не хотел кончаться, а солнце, клонясь, всё плотней увязало в молодой полупрозрачной листве деревьев.

И тут мы услышали далёкий-далёкий, но явственный рокот. Он был совсем не в той стороне, куда мы шли. Решили идти на него.

И вот лес расступился. Перед нами чернело свежеспаханное поле, непоханая кромка которого, прилегавшая к лесу, щетинилась прошлогодней жёлтой стерней. Справа, уже низко над землёй, висело огромное и багровое теперь солнце, а слева, густо пыля пугами, к нам медленно приближался громко рычащий гусеничный трактор. Мы стали его ждать.

Наконец он поравнялся с нами и, пахнув на нас горячим машинным маслом, остановился. Из поддobia кабины без стёкол и дверей спрыгнул на землю тракторист с чёрным, как у негра, лицом — белели только зубы и белки глаз, да ещё — седая щетина на щеках, и, как кровавая рана на лице, краснел рот.

С высокого сиденья над прицепом с плугами позади трактора соскочил другой человек, тоже чернолицый, и оба решительно направились к нам.

Весь в чёрной промасленной одежде, чёрный лицом, тракторист показался мне страшным. Прицепщик, идущий следом, в большом пиджаке, запахнутом глубоко подмышку и перетянутаю в поясе верёвкой, был щупл и невысок, однако и он выглядел угрожающе. Я уже готов был рвануть со всех ног в лес; да, кажется, и вся наша компания приготовилась дать стрекача.

— Толька, это ты, что ли? — вдруг спросил тракторист.

— А-а, это вы, дя-а Вася? — в свой черёд осторожно спросил Толян.

— Ну я, — ответил тракторист. — А какого чёрта вы тут делаете?

— Да хотели цветы мамкам... — принялся было объяснять Толян.

— Х-хэ, цветы! — угрюмо усмехнулся тракторист и повернулся к прицепщику: — Слышь, Серёнька: это они за цветами сюда припёрлись! Сегодня распишут им дома цветами задницы!..

Я всмотрелся в «Серёньку» и узнал его: он же — с соседней улицы; ещё недавно, как и Толян, гонял по улицам с ватагой, даже ставил мне когда-то *щелбаны*, — а теперь Серёнька смотрит на нас свысока. И наш Толян рядом с ним сразу уменьшился ростом. А тракторист опять обратился к нему:

— Ох, Толька-Толька, отцов на вас нет... Это ж надо: за семь вёрст упёрлись, а? Ещё и мальчика с собой таскаете, — кивнул он на меня.

— Да мы это... подарить в День Победы, — бормотал Толян.

— Как? — встрепенулся тракторист. — Победа, что ли?

— Ну да! — важно на этот раз пробасил Толян, и тут все остальные, перебивая друг друга, пришли ему на помощь:

— Митинг был!.. Председатель сельсовета выступал, директор школьный... Стреляли, из шести ружей салют давали!..

— Так бы сразу и сказали, а то молчите! — повеселел тракторист и опять повернулся к прицепщику: — Слышь, Серёнька, а я всё думаю: чего это пахота у нас сегодня так спорится? И трактор ни разу не заглох: прёт и прёт! И, *главно дело*, бригадир не *показывается!*.. Ох, в баньку-то бы *щас!*.. Да там, поди-ко, и выпьют сегодня?... Ну, молодцы, *робяты*, что сказали. Давай-ка, Серёнька, допашем скорей, да, может, нас и домой пораньше отвезут — ради Победы-то?... А вы давайте-ка вот так, краем пашни, — уже доброжелательно показал он нам рукой в противоположную заходу солнца сторону, — и дуйте, да побыстрей, а то ночь скоро. Кончится пашня — там дорога будет; так вы по ней. А там и деревню увидите...

И тракторист с Серёнькой повернулись и пошли к трактору, а мы потопали, как он показал, краем пашни, беспokoйно оглядываясь на солнце,

замечая, с какой быстротой оно клонится всё ниже и ниже к земле.

Семь вёрст, после целого-то дня на ногах, казались бесконечными: идёшь-идёшь, а всё почти на месте... Я неизменно теперь плёлся позади всех, и каждый по очереди считал нужным на меня цыкнуть:

— Ну ты чего как варёный-то? Шевелись быстрее!..

Чем ближе к ночи, тем больше беспокоила недавняя встреча с волком. Кто-нибудь ни с того ни с сего вдруг спросит недоуменно:

— А он, наверное, не один там был... Где же остальные-то?— и мы понимали, кто это *он*, и всё глубже уходили в собственные невесёлые мысли...

А дороге всё не было конца— как не было конца этому бесконечному дню.

Наконец вышли на дорогу. И тут далеко в низине показалось село. Солнце зашло; здесь, в поле, ещё стояли светлые сумерки, а село уже потонуло во мраке— слабо мерцали первые огоньки. Ещё так далеко до дома— а ноги уже совсем не шли. И в то же время с приближением к дому нами всё больше овладевала не радость, а уныние: что-то нас там ждёт?

К нашему облегчению, нас догнала одноконная бричка; в ней, кроме юного возчика-подростка, восседавшего на пустой железной бочке из-под горячего, сидели уже знакомый нам тракторист дядя Вася с Серёнькой. Подобрали и нас. И лошадь, и седоки торопились домой, так что бричка, подпрыгивая и тарыхтя на неровной дороге, неслась под горку споро и мигом домчала нас до села.

К дому я подошёл в темноте. С нарастающим страхом: что-то сейчас будет?— поднялся на крыльцо и дёрнул входную дверь. Дверь была заперта, и я с ужасом понял: меня не ждут!

Рядом с крыльцом— кухонное окно; ближняя створка его открыта и завешена марлей— это делалось, когда наступало тепло. Я осторожно глянул сквозь марлю: в тёмной кухне бледнел маленький слабый огонёк; из-за марли вместе с домашним теплом, сулящим покой и уют, тянуло заманчивыми кухонными запахами, и я тотчас вспомнил, как страшно хочу есть.

— Ма-ама-а!— жалобно позвал я и наострил уши.

В кухне послышался шорох; я напряг слух, но разобрать ничего не мог. Затем за марлей раздался строгий бабушкин голос:

— У нас все дома!

— Бабушка, это я!— горячо залепетал я.

— Кто это «ты»?— спросила бабушка строго.— Не знаю такого.

— Ну я, я! Простите меня— мы в лесу заблудились!— продолжал я ныть; хотелось плакать от обиды, раскаяния, от жалости к себе и страха, что меня и в самом деле не пустят; однако плакать я уже не мог— так устал, только стоял и ныл,

вполне осознавая, как это нытьё противно даже мне самому.

— Мама полдня бегала по деревне и искала своего сына,— опять раздался бабушкин голос.— Но она его нашла. Все мальчики, у кого есть дом, уже дома!

У меня мелькнуло в голове: а ведь и в самом деле все уже дома; я последний— ведь я живу дальше всех!..

— Ма-ама-а, прости-и, я больше не бу-уду-у!— продолжал я назойливо ныть, обинуюсь теперь только к маме, а не к бабушке, продолжая в то же время вслушиваться в шорохи, ещё не зная, что мамы дома всё ещё нет— она сломя голову бежит по деревне и ищет меня...

И вдруг почувствовал: в мире за моей спиной произошло что-то беззвучное и торжественное. Я оглянулся и обмер: далеко над заречными холмами и лесами показалась в темноте светящаяся багровая полоса; она быстро вспухала и дыбилась кроваво-огненной горой. Я никогда ещё не был так поздно на улице и никогда не видел ничего подобного. Про всё забыв, зачарованный, я, словно лунатик, спустился с крыльца, миновал калитку и покорно пошёл навстречу удивительному видению.

До берега, который обрывался крутояром, было метров двести. Пока я шёл к нему, передо мной выкатилась, взбираясь всё выше в небо, огромная луна, из багровой превращаясь в оранжево-золотую.

Вообще-то я любил бывать на этом обрыве днём: здесь кончались все дороги и начинался необозримый простор во все стороны; с него далеко-далеко видно было дикие, густо заросшие заречные дали, уходящие к горизонту слабыми волнами; с обрыва мы, мальчишки, бывало, кричали хором в это необозримое пространство смешную фразу: «Кто украл хомуты?»— и оно отвечало нам долгим-долгим многократным эхом: «Ты-ы-ы!..» Но когда я дошёл до края обрыва теперь, поздним вечером, и остановился— всё вокруг странно изменилось по сравнению с днём; знакомый мне мир в темноте был совершенно иным— многомерным и ещё более огромным: пространство между мною и луной странно голубело и серебрилось; глубоко внизу пролегла по чёрной речной воде косая сверкающая дорога; с переката вдалеке слышался совершенно не слышный днём плеск, шум, бульканье; но самое странное— воздух вокруг странно звенел и переливался... Мне открывалась ночная сторона жизни, таинственная, глубокая и ещё более интересная, чем дневная; я был поражён своим открытием и просто задохнулся от обилия этой другой— ночной— стороны жизни: она поворачивалась ко мне совершенно новой стороной!

У меня перехватило дыхание; я уже совершенно изнемог от усталости и обилия свалившихся на меня за день открытий и, не в силах стоять, сел

на землю, поднял колени и, чтобы угреться, обхватил их и плотно прижался к ним грудью, глядя перед собой и слушая эти странные, незнакомые мне переливы и этот звон. И тотчас уснул — очнувшись уже в маминых руках... Это потом она мне рассказала, что когда я стоял и ныл у окна — она, уже и успев побывать в лесу, и обойдя всё село, как раз бежала домой, потому что столкнулась с Серёнькой, и тот ей всё про нас доложил.

— Какой противный мальчишка: замёрз, устал... Вот устроил мне праздник! — ворчала она, завернув меня в свой жакет, поднимая на руки и крепко обнимая.

Я сам прижимался к ней, чувствуя, как льются в меня её тепло и нежность. Никогда — ни до, ни после — не было у нас с ней такого душевно-телесного слияния, как в тот странный вечер, которым окончился день: мама судорожно обнимала меня, желая оградить от всего, что влекло меня, соблазняло и манило...

— Мама, а что это так звенит? — угревшись, сквозь сон спросил я.

— Где, что звенит?

— Да вот, вот! Слышишь?

— А-а! — догадалась она. — Так это же соловьи!..

И тогда я сразу понял, что отовсюду — из-за реки, из лепившихся по склону обрыва кустов акации, жимолости, крушины — раздавались трели, свист, щёлканье многих-многих птиц, сливаясь в сплошной звон.

— Ну всё, пошли домой, — сказала она. — Но мне тебя не донести — ты уже вон какой тяжёлый, а я устала.

Она опустила меня на землю, оставив на мне свой жакет, взяла за руку, и мы пошли домой; этот не совсем обычный день в ряду бывших до него и ещё предстоящих, наконец, кончился...

Но когда я вспоминаю про него — он представляется мне средоточием всего, окружавшего меня тогда: всеобщей военной беды, смертей, нищеты и натужности жизни, и одновременно — необыкновенной красоты вокруг. И всё кажется: именно в тот день я очнулся от младенческого сна, в котором пребывал до этого, лишь моментами приходя в себя; очнулся, пришёл в себя и начал постепенно осознавать, что существуют две разные части мироздания, не сводимые в одно: человеческая жизнь — и необыкновенная красота мира, от которой замирает дыхание и сильнее стучит сердце; и в глубокой трещине, разделяющей эти две части, живу я, раздираемый ими надвое, сросшийся со всем этим намертво, любящий это всё — и всё же отдельный ото всех: от бабушки, от мамы, от коровы и овечек, от солнца и травы, от всего села вместе с директором школы, Орсей, Толяном и всей нашей уличной стаей, от нашего огорода и от полей вокруг села, по атому собиравших во едино моё тщедушное детское тело. Я продолжал чувствовать родственную связь с этим миром и до конца дней буду нести в себе пуповину связи с ним — но вместе с тем именно с того дня я всё больше и больше отдалялся от него и всё более чувствовал и осознавал себя, отдельного от всех, и растил в себе себя самого. Так что спокойно могу объявить, что я — родное дитя и прямой наследник той великой, мучительной, страшной Победы.